

кратии трудящихся в осуществлении их *собственной* программы и постоянное нежелание отказаться от бесплодных и пустых союзов и компромиссов есть самый эффективный способ лишить массы иллюзий и толкнуть их в объятия большевизма, были «гласом вопиющего в пустыне».

Большевистская партия упростила свою задачу одним ударом. Она не стала предлагать стране, которая веками жила при абсолютизме, превратиться в свою демократическую противоположность с помощью перерождения и образования. Вместо этого она предложила ей новый, благосклонный, просвещенный абсолютизм, дружески относящийся к рабочим и способный завершить «революцию сверху». Взамен иллюзорной свободы, которая была чужда диктаторской власти, присвоившей себе громкий титул «диктатуры пролетариата», она предложила стране экономическое равенство и всеобщее процветание.

Эти заманчивые лозунги, резко контрастировавшие с бесплодностью усилий Временного правительства, и предопределили победу большевиков.

Разрушение вместо созидания (полное собрание сочинений В. И. Ленина)

Вышло в свет полное собрание сочинений Ленина в восемнадцати толстых томах, из которых некоторые к тому же двойные¹. Сюда вошли его книги, статьи, речи, порою даже письма. В России создается особый институт изучения Ленина. Его ученики и почитатели имеют теперь полную возможность впитать в себя всю теоретическую и практическую мудрость учителя. Но и для нас — это богатейший материал для размышления. Вместе с «Экономикой переходного периода» Н. Бухарина², служащей как бы сухим, сжатым конспектом к этим томам, полное собрание сочинений Ленина — почти неисчерпаемый клад данных для подведения итогов большевизму во всех путях его и для его всесторонней характеристики.

На первый раз я хотел бы поделиться только самым общим впечатлением, остающимся после внимательного штудирования последних шести-семи томов, охватывающих весь период великой русской революции. Кратко его можно суммировать в четырех словах: деструктивный социализм вместо конструктивного.

Я понимаю, что с самого начала такая формулировка может вызвать недоумение. Деструктивный социализм — это есть какое-то

воплощенное *contradictio in adjecto*³. С одной стороны, социализм по самому существу своему предполагает грандиознейшую перспективу творчества новых форм. С другой стороны, всякий реформатор ломает и разрушает старое, и в этом смысле всякий социализм неизбежно «деструктивен». Его формула: *destruont dedidicalam* — разрушаю, чтобы построить. И как будто не может быть течения в социализме, которое характеризовалось бы исключительным признаком «деструктивности».

Однако взаимное соотношение разрушительной и созидательной, деструктивной и конструктивной стороны в социализме требует более глубокого анализа, чем тот, вся суть которого исчерпывается трюизмами о том, что созидание и разрушение суть родные братья, или две стороны одного и того же дела.

Здесь мыслимы, прежде всего, в высшей степени серьезные разногласия о том, что чему должно предшествовать: разрушение творчеству или творчество разрушению?

На первый взгляд ответ прост: чтобы «построить» что-нибудь, надо сначала расчистить для этого место. Социальное здание прошлого — рассуждает вульгарный революционизм — должно быть прежде всего пущено на слом; только после этого на его месте может быть воздвигнуто здание будущего. Если спросить, где же и как будет жить человечество в тот промежуток времени, когда старое здание уже будет снесено, а новое *еще* не воздвигнуто, то вопрос этот устраняется ссылкой на краткость этого периода, а короткое время, разумеется, можно прожить и на биваках, под наскоро сколоченным навесом, а не то — так и просто под открытым небом.

Все эти фигуральные выражения и грубые аналогии, конечно, никуда не годятся и делают анализ крайне плоским. Однако даже из приведенного грубого и поверхностного рассуждения уже видно, что мыслимо и такое направление в социализме, которое предполагает между капитализмом и социализмом некоторую переходную эпоху, которая будет не эпохой органического перерождения и систематической перестройкой капиталистического режима в социалистический, а эпохой как бы краха всей современной цивилизации, всеобщего снижения, культурного опрощения, в котором от старого не останется камня на камне. Этот опрощенный быт, своего рода экономический первоначальный хаос, в котором расплывутся развитые формы современного капитализма, и будет той исходной точкой, из которой наконец постепенно начнут выбраживать новые социальные образования.

Как античную цивилизацию постигло великое всеобщее крушение и новая жизнь, с высшими социальными формами, стала воз-

рождаться лишь из мглы средневековья, — так ждет подобная же великая катастрофа и современную буржуазную цивилизацию. Социализм будет не ее перестройкой, а новой постройкой на развалинах, на пустырях, созданных новой величайшей мировой социальной катастрофой.

Именно в этом роде давно уже представлял себе конец капитализма главный теоретик романского революционного синдикализма Жорж Сорель. Революционные синдикаты были для него той Авентинской горой⁴, на которую должен удалиться пролетариат, отряхнув от ног своих прах буржуазного Рима, обреченного на гибель и запустение. Универсальная всеобщая стачка для него выростала в грандиозный «социальный миф», в род нового всемирного социального потопа, приканчивающего с дряхлым миром. Новая жизнь должна начаться как бы с совершенно новых исходных точек земного шара. Синдикаты — своего рода ковчег Ноев — после потопа пристающий к горе Арарату, чтобы оттуда начать овладение очищенной от буржуазной нечисти землю.

Как ни кажется на первый взгляд туманно-романтическим и нереальным это воззрение, но мировая война и вызванные ею опустошения и социальные потрясения показали, что и в нем были какие-то элементы провидения будущего, что оно было лишь *преувеличением* действительно наличных тенденций; преувеличением ничуть не большим, чем противоположная ему маниловски-реформистская концепция о таком мирно-революционном, постепенном, безболезненном перерождении капитализма в социализм, что трудно будет даже сказать, когда же собственно капитализм перестал быть капитализмом и с какого момента начать социалистическую эру жизни человечества.

По крайней мере, Россия действительно дала миру картину величайшего краха и развала всего, что было создано довоенной эпохой, картину величайшего экономического и культурного «опрощения». Развитые формы хозяйства как бы распались на свои составные элементы. Возврат к примитивизму стал одно время общим явлением.

Неудивительно, что в России же явились и теоретики, готовые возводить этот факт в неизбежный закон. Лидер левых коммунистов, Н. Бухарин, посвятил его выведению и доказательству значительную часть своего теоретического труда «Экономика переходного периода», причем под переходным периодом он разумеет тот, который отделяет капитализм от коммунизма. И вот что у него получается.

«Производственная анархия, или, как ее обозначает в своем труде о “Послевоенных перспективах русской промышленности”

проф. Гриневецкий, *революционное разложение промышленности* есть исторически неизбежный этап, от которого нельзя отделаться никакими ламентациями»*. «Старое общество и в его государственной, и в его производственной формулировке раскалывается, *распадается до самых низов, вплоть до самых последних глубин*»**.

Крахи предшествовавших цивилизаций сравнительно с крахом буржуазной культуры должны выглядеть, с точки зрения Бухарина, как детская игра. В истории *«никогда еще не было такой грандиозной ломки»*. Строить будущее общество придется *«из распавшихся элементов»* через «неизбывные муки переходного периода»; мы идем к «социализму, вырастающему на грудe обломков»***.

И сам глава большевистско-коммунистической школы, Ленин, еще более настойчиво приглашает всех взглянуть мужественно прямо в глаза этой трагической правде. Если ранее все социалисты — правые, левые — безразлично, сам Ленин не был исключением — в своей проповеди сулили от шагов к социализму немедленное улучшение положения рабочих масс, то современный коммунизм, наоборот, по долгу революционной совести должен предупреждать рабочих, что в течение долгого инкубационного периода их ждут, после ликвидации капитализма, тяжелые времена *«неизбежных мук»*. Кто их боится — тому нечего и думать о социализме, как и социализму нечего с ним делать. Ядом сарказмов осыпает Ленин *«сладеньких социалистов»*, которые отвергают *такой* путь к социализму. «Они слышали и признавали теоретически, что революцию следует сравнивать с актом родов, но когда дошло до дела, они позорно трусили». Но ведь *«рождение человека связано с таким актом, который превращает женщину в измученный, истерзанный, обезумевший от боли, окровавленный, полумертвый кусок мяса»*. Вот, что надо ясно представлять себе, когда говоришь и думаешь о *«старом обществе, которое беременно новым»*. «Роды бывают легкие и бывают тяжелые. Маркс и Энгельс, основатели научного социализма, говорили всегда о *долгих муках родов*, неизбежно связанных с переходом от капитализма к социализму». Революцию же после войны Энгельс считал *«особенно тяжелым случаем родов»*. Ленин не забывает даже и о том, что *«трудные акты родов увеличивают опасность смертельной болезни или смертельного исхода во много раз»*, но, вместо того, чтобы продолжать это давно набившее оскомину сопоставление с родами до невыгодного

* Н. Бухарин. «Экономика переходного периода», Москва 1920, стр. 48.

** Н. Бухарин. «Эконом. перех. периода», стр. 5.

*** Там же, стр. 5, 6 и 102.

пункта о преждевременных родах и *выкидышах*, спешит скорее прервать аналогию и заявить, что «если отдельные люди гибнут от родов, новое общество, рождаемое старым укладом, не может погибнуть»*. Этот квазинаучный декрет не подлежит критике, ему надо внимать и слушаться.

Для Ленина всякие сомнения в концепции социализма, как феникса, рождающегося из пепла, есть идейная трусость, есть лишь «хныканье дрянных душонок». Однако, при всем своем непреклонном, закаленном оптимизме, и ему приходилось не раз при зрелище неизбывных мук переходного периода бить тревогу, восклицая: «Мы стоим перед катастрофой»... «Страна *гибнет* оттого, что после войны в ней нет элементарных условий для нормального существования». «Когда слышишь сотни тысяч жалоб на голод, когда видишь и знаешь, что эти жалобы правильны», — тогда приходится даже не «хныкать», а криком кричать, воплем вопить, — так, как завопил однажды сам Ленин, — что при такой разрухе «не только социализма не будет, а просто околеют все с голоду, как собаки, в то время, как хлеб лежит рядом»**. И порою вместо привычных пророчеств о близком торжестве коммунизма с его уст срывались невольно другие полупророчества: «Как будто с цивилизацией, с культурой страны *опять возвращаются к первобытному варварству*, опять переживают такое положение, когда дичают нравы, звереют люди в борьбе за кусок хлеба»***... Но эти черные мысли он отгоняет снова и снова прочь от себя, чтобы дать торжество все тому же *надрывному коммунизму отчаяния*, боящемуся отдать себе ясный отчет в своей собственной сущности и воображающему себя порою *коммунизмом веры*.

Есть такие же ноты и у Н. Бухарина. Он допускает даже, что дорога *распада*, разрушения старого «вплоть до самых последних глубин» не обязательно приведет к рождению нового общества. «Теоретически мыслимо дальнейшее разложение, “гибель культуры”, возвращение к примитивным формам средневекового полунатурального хозяйства, словом, та картина, которую рисует Анатолий Франс в конце своего “Острова Пингвинов”»****...

Крайности сходятся. Этими оговорками крайний левый, страдающий гипертрофией деструктивного элемента, фанатически верующий коммунизм становится в опасную близость с самыми скептическими течениями современности.

* Собрание сочинений, т. XV, стр. 362–363.

** Там же, стр. 243 и 247.

*** Там же, стр. 331.

**** «Экономика перех. периода», стр. 49.

А их много, очень много. Все они в большей или меньшей мере сходятся на идее краха, гибели нашей культуры. Здесь и «*Untergang des Abendlandes*» Шпенглера, и «Сумерки Европы» Ландау, и «Катастрофическое мировосприятие» так называемых евразийцев с их исходом к Востоку; здесь в особенности идеи проф. Виппера, который убежденно и твердо говорит: «Да, мы откинута в глубину средневековья, и это не только метафора»⁵.

Концепция возврата к средневековью здесь всего интереснее. Она считает неизбежным то, что для Бухарина было лишь теоретически мыслимо. «Нам приходится вспоминать об этой эпохе не только потому, что мы силою вещей повергнуты в хаотичность и первобытные условия жизни, которые были ей присущи, — говорит Виппер, — но еще по одной причине». И здесь проф. Виппер, исходя из иной отправной точки и приходя к иным выводам, говорит слово в слово, как Бухарин: «О том, как будут обособляться и ссориться между собою распавшиеся части большого целого», как «разлаженные колеса и рычаги колоссальной машины, вышибленные из своих соединений будут ломаться и крутить друг друга», как медленно будут создаваться новые коллективные связи при общей ослабленности государства, при слабости первоначальных и неокрепших ростков возрождающейся общественности, при общей «варваризации», но и при наличности некоторой доли «здорового варварства», примесь которого в конце концов даст свою пользу одряхлевшей, подорвавшейся изнутри цивилизации... Все начнется сначала. С исходной точки начнется какой-то в незначительной вариации «круговорот истории»...

Чрезвычайно характерно, что именно в России, где огромная страна целыми годами была превращена в арену экспериментов «деструктивного» социализма, явились и самые пессимистические теории «гибели культуры» и наступления эпохи «нового средневековья» — теории, для которой история человечества есть «какие-то дьяволы качели»: взад-вперед, взад-вперед. В России капитализм был все время весьма худосочным и оранжерейным и крушение его произошло особенно легко, стремительно и полно. Вся ее хозяйственная система первую затрещала по всем швам, не выдержав всемирной затяжной войны на истощение. В ней «деструктивному» социализму задача была особенно легка, ибо почва для него была подготовлена «деструктивным» капитализмом...

В самом деле, социалистическая теория уже давно и чрезмерно злоупотребляла гимнами творческой роли капитализма. Делами его десницы заслонялись дела его шуйцы. Конструктивная, созидательная, организационная деятельность капитализма была всем в глаза. А его подкоп под все основы бытия человечества

был глухой подземной работой, до поры и до времени прикрытый условностями дипломатической лжи и молчанием. Правда, империалистический период развития капитализма давно превратил состояние мира в состояние скрытой войны — и бег взапуски по пути вооружений в колоссальную непроизводительную растрату народно-хозяйственных ресурсов. Но только война, всемирная война, война на всеобщее истощение показала миру во весь рост деструктивные тенденции капитализма.

Деструктивный социализм есть законное детище деструктивного капитализма. Он буквально загипнотизирован созерцанием своего родителя и доходит до полнейшей мимикрии, до самого рабского копирования его особенностей. Множество его положений до мировой войны показались бы чудовищными, свидетельствующими о психической ненормальности. После этой войны они оказались в порядке вещей. Психологическая почва для них была разрыхлена.

Тем решительнее должны мы, убежденные сторонники конструктивного социализма, дать отпор этим подрывающим все наше дело глубоко враждебным всей нашей сущности тенденциям. Если мы не хотим, чтобы при нашем соучастии человечество действительно погрузилось во мглу нового средневековья, мы должны подвергнуть деструктивный социализм уничтожающей критике в самых его духовных истоках. И прежде всего мы должны покончить с предрассудком, имеющим видимость трюизма: будто бы в работе социализма *разрушение* неизбежно предшествует *созиданию*, расчищая для него почву.

Конструктивный социализм отметаёт от себя соблазн красивой анархистской фразы: «Дух разрушения есть созидающий дух». Дух созидания не может не быть в то же время и духом отрицания и разрушения: всякое новое неизбежно отрицает старое, но обратная теория неверна, дух разрушения *может и не быть* сознательным и устрояющим духом. И даже если *по заданию своему* дух разрушения является (точнее, хочет быть) духом созидающим, успех не в одинаковой степени может увенчивать эти две стороны его работы. И нельзя себе представить ничего худшего как для отдельного реформатора, так и для целой новаторской партии, партии будущего, чем роковое *отставание его созидательной работы от разрушительной*. Помимовольный, культурно-социальный регресс вместо намеченного прогресса является неизбежной карой исторической Немезиды за всякое проявление конструктивной незрелости.

И так для конструктивного социализма с самого начала дана одна великая заповедь: — Должно быть соблюдено суровое

равновесие между созидательной и разрушительной стороной преобразовательной работы. И другая, подобная ей: созидание должно не следовать за разрушением, тем самым неизбежно перманентно *отставая* от него, но везде, где это возможно, даже *предшествовать* ему.

Исторические прецеденты, предшествовавшие революции, говорят именно за эту великую заповедь. Ошибочно было бы думать, что величайшее из социальных потрясений прошлого Великая французская революция сначала уничтожила феодализм, а затем начала создавать основы буржуазного капиталистического уклада жизни. Этот новый уклад уже был налицо, совершенно готовым, он гнезвился, так сказать, в порах старого режима. Городская жизнь *уже* давно исподволь перерабатывалась в новые формы; в цехах и гильдиях созрел новый промышленный мирок, ничего общего не имеющий с феодально-иерархической системой; и лишь когда удельный вес этого нового мирка возрос, а старый режим стал путями для его растущей молодой и самоуверенной силы, революция разорвала эти пути не для того, чтобы «творить из ничего», а лишь для того, чтобы *распространить на всю страну* основы жизни, *уже созревшие* в классовых организациях бюргерства, в его приватном «мирке». Отмена крепостного права в России произошла тогда, когда уже сильно возрос слой «вольных хлебопашцев», и наряду с фабриками, употреблявшими крепостной труд, выросли и такие, на которых был труд вольнонаемный, и когда практика показала, что вольнонаемный труд продуктивнее крепостного. Политическая свобода, конституционное народовластие было распространением на всю страну начал скромного местного самоуправления, сложившегося в недрах автократического режима и казавшегося на первых порах всего лишь некоторым подспорьем ему в деле управления страной. Социализация земли в России была лишь распространением на всю страну, на весь аграрный строй принципов, в неразвитом виде лежащих в основе скромной поземельной общины, с ее равным правом на землю всех новородившихся членов общины и равным правом всякого вложенного в землю труда на вознаграждение соответственным эквивалентом. Подобно этому и целостная система не может быть «творчеством из ничего» на руинах беспощадно уничтоженного прошлого. Рабочие синдикаты, чей голос имеет все больше и больше значения при установлении внутренних распорядков в промышленных заведениях; коллективные договоры, эти зачатки временных фабричных конституций; земельные общины и товарищества; кооперативы, организующие потребление и вокруг них работающие на это организованное потребление, по его заказам, мастерские;

рабочие «гильдии», пытающиеся объединить представителей труда физического и духовного, мускульного и технически организованного, в организациях, являющихся синтезом кооперативизма и синдикализма; новое трудовое право, трудовая мораль, трудовая культура и трудовая идеология, зреющая как в этих организациях, так и в союзной с ними партийно-политической организации труда, — все это суть ростки новой жизни, живые эмбрионы, государство будущего или, лучше сказать, дифференцирующиеся органы этого эмбриона. В их лице подготавливается и зреет социализм. Революция, великая, решающая революция, а не преждевременный выкидыш, — может быть лишь плодом зрелости этого эмбриона, не довольствующегося больше зародышевым прозябанием на частно-правовых началах в лоне старого строя, почувствовавшего, что ему тесен мирок классовых учреждений. «Мирок» должен завладеть миром и стать новым миром. Бьет час распространить на все общество выработанные в его недрах новые нормы бытия. Буржуазные формы жизни в самых основаниях своих могут быть отныне потрясены, снесены, отменены, разрушены. Человечество не очутится ни на биваках, ни под открытым небом. Оно не совершит авантюристического «прыжка в неизвестное». Оно пойдет *вперед*, а не *назад*. Таков нормальный порядок здорового развития. Перевернуть его вверх ногами — значит «дух разрушения» сделать злым гением всеобщей разрухи.

Мыслить о социализме иначе, это значит — верить в «творчество из ничего», чудодейственную власть над жизнью насилия, принуждения, государственной власти и ее «декретов». Это значит верить в социальное чудо. Когда-то, до мировой войны, все эти «детские болезни социализма» казались давно пройденною стадией. Лишь немногие выжившие из ума старцы, рисовавшие себе социальную революцию пролетариата в привычных образах буржуазных якобинцев девяносто третьего года, да не успевшие «вжиться в ум» зеленые юноши примитивно представляли себе социализм как овладение властью — этой чудесной лабораторией государственной алхимии, где любой металл можно превратить в золото, где декретная черная и белая магия прикажет жизни из буржуазной превратиться в социалистическую, и жизнь послушается магических слов властного приказа. Война воскресила все эти угасшие иллюзии. Весь дух империализма, весь дух войны — крайнее напряжение «воли к власти». Война сделала государство диктатором страны. Война заставила все силы нации испуганно сжаться, сплотиться вокруг государства и послушнее,

чем когда-либо, повиноваться его указаниям. Чуть не каждая из воевавших наций знала моменты, когда она чувствовала себя осажденной, блокированной крепостью накануне штурма. Всеобщее беспрекословное повиновение диктовалось инстинктом самосохранения. Сомнения, критика, ропот были роскошью, которую нельзя позволить и которая граничила с преступлением. Принудительное начало торжествовало по всему фронту общественной жизни, опутывая и используя все активные силы нации. Говорили о «военном социализме», якобы уже почти осуществленном в порядке осадного положения. Никогда еще «военная власть» не была такой «верховой» и всемогущей. Удивительно ли, что ее созерцание загнипнотизировало и многих социалистов?

В России этот гипноз власти над умами даже самих революционеров должен был встретить меньше всего психологических препятствий, ибо Россия была страной, менее всего воспитанной в традициях народовластия, менее всего впитавшей в плоть и кровь его принципы, более всего привыкшей к господству всеведующей, вездесущей и всемогущей автократии. Вековое господство самодержавия врезалось в психологию, коварно впивалось нежалящими когтями в души, самих революционеров делала втайне духовными автократами. Подполье с его узким кругом профессионалов революции, похожих на членов своеобразного монашеского воинствующего ордена и с требованием железной дисциплины, довершало дело. Русский большевизм и был тем крылом революционной демократии, на котором накопились путем естественного подбора элементы с этим специфическим настроением.

Отсюда и особое положение русского большевизма с начала русской революции среди других фракций революционной и трудовой демократии. Одна черта более всех других выделяла большевиков и отличала их от их «друзей-врагов» по революции и социализму. Этою чертою была «воля к власти».

Все другие фракции относились к власти, к участию в ней, с большой осторожностью, иногда даже чрезмерной, переходящей в настоящую эпидемию «властебоязни». Одни думали, что уже одного совпадения войны с революцией достаточно, чтобы сделать задачу социалистического правительства задачей, подобной квадратуре круга. Казалась неизбежной дилемма: либо война убьет революцию, либо революция убьет войну; но революция, происходящая только на одну сторону фронта, убивает войну лишь односторонне; в военном смысле она может стать самоубийством, и потому не дать стране достойного, революционно-социалистического выхода и дать лишь постыдный: капитуляцию перед империалистическим соседом.

Другие главным образом вставали в тупик перед общей некультурностью и хозяйственной отсталостью России. Эти считали эфемерными и миражными стихийные взрывы туманно-социалистических симпатий, эпидемически быстро охвативших сверху до низу народные массы. Большинство социалистов полагало, что их время, вопреки всем обманчивым видимостям, еще не пришло, что надо резервировать себя для будущего; с их точки зрения, *настоящее* было так смутно, тревожно и запутано, что ни одна партия не в силах взвалить исключительно на свои плечи все тяжелое бремя власти, но поперек дороги этой тяги к «большой коалиции» стояло разделение ответственности. И в то же время отсутствие в России такой буржуазной партии, которая сознавала бы весь трагизм положения и готова была бы надлежащим образом возвыситься и над партийным самомнением, и над обычным уровнем буржуазных предрассудков и appetитов, еще более запутывало положение, и без того запутанное до самой последней степени. Вот почему в течение 1917 года в России не раз бывало совершенно парадоксальное положение. Борьба между партиями не прекращалась, но эта борьба шла более *вокруг* власти, чем *за* власть. Или, если хотите, это была как будто борьба за власть навыворот: чуть не каждая партия старалась свалить власть в возможно большей степени на чужие плечи... Бывали моменты, когда «власть валялась на улице», и все, упираясь, спорили, кому и на каких основаниях подобрать ее.

Уже на первом всероссийском съезде советов, когда Церетели порицал безответственную оппозицию, говоря, что партия «всеми недовольная» должна иметь свою осуществимую положительную государственную программу, которую она готова выполнить одними собственными силами, взяв в свои руки безраздельно власть, и что такой партии в России нет, — Ленин произвел большую сенсацию, крикнув с места, что такая партия в России есть и что эта партия — есть большевистская партия.

Эти дерзкие слова первоначально вызвали дружный смех большинства. И даже сами большевики казались сконфуженными «бестактной выходкой» своего вождя. Но Ленин знал, что говорил, и продолжал стоять на своем⁷: «Политическая партия вообще, а партия передового класса в особенности — не имела бы права на существование, была бы недостойна считаться партией, была бы жалким нулем во всех смыслах, если бы она отказалась от власти, раз имеется возможность получить власть»*. «Вопрос о власти есть коренной вопрос всякой революции», — не устает твердить он**.

* Ленин. Собр. соч. Т. XIV, стр. 217.

** Там же, стр. 12.

Его оценка возможности, которая предоставляет власть, чрезвычайно характерна: «Самым главным вопросом всякой революции является вопрос о государственной революции. В руках какого класса власть — это решает все»*.

Власть — это все. Захват власти — ключ ко всему. Это старобланкистская манящая идея владеет умом Ленина. Он прививает ее всей партии, не встречая серьезного сопротивления. Те же исторические образы, которые вдохновляли французских бланкистов, начинают вдохновлять русских большевиков. Своей верой в могущество государственного принуждения, они все больше и больше напоминают якобинцев Великой французской революции. Все чаще и чаще ссылаются на них, цитируют их или просто говорят их словами, примеряют к себе роли Марата, Робеспьера и Дантона. От большевиков тем же заражаются и левые эсеры, один из которых даже в наши дни пытался иносказательно обрисовать большевистско-лево-эс-эровскую распрю, сведя ее к прототипам и открыв принципиальную рознь «Робеспьерова и Дантонова начала в революции». И аналогия с якобинством имеет свой *raison d'être*⁶. Революционного якобинства не могло бы быть, если бы Франция не была до революции страной величайшей чудовищной централизации. Париж, диктующий всей Франции свою мятежную волю, был только революционной переделкой дореволюционного строя. Диктатура якобинцев была только инсurreкционной версией королевского «государство — это я». Большевизма в России тоже не могло бы быть, если бы не было веками внедренного престижа и очарования мощи исконного самодержавия. Без режима — «помазанника Божия» не могло бы быть и режима «помазанников собственной революционной воли». Незаметно, медленно, но верно происходила психологическая мимикрия, и она сделала свое дело. Ленин даже чистую демократию в официальной большевистской программе не умел определить иначе, как искажающими ее сущность словами «самодержавие народа». Диктатура пролетариата, в определении Ленина, вполне и безусловно выглядит своеобразным классовым абсолютизмом и даже деспотизмом.

Как зачарованный одной светящейся во тьме светлой точкой, не оглядываясь по сторонам, не зная сомнений и колебаний, принимая, что все средства хороши, если они ведут к цели, — большевизм упорно шел к захвату власти. Труден ему казался только первый шаг: овладение государственным механизмом. Но раз эту задачу каким-нибудь фокусом удастся разрешить, все прочее приложится. Ведь «революция состоит в том, что пролетариат

* Там же, стр. 102.

разрушает аппарат управления и весь государственный аппарат, заменяя его новым, состоящим из вооруженных рабочих»*. Проще и радикальнее этого ничего быть не может. Впрочем, Ленин специально занимался вопросом «Удержат ли большевики государственную власть» и в брошюре под этим заглавием дал классический образец рассуждения, если не гениального, то во всяком случае простого, как все гениальное.

«Россией управляли после революции 1905 года 130 тысяч помещиков, управляли посредством бесконечных насилий над 150 миллионами людей, посредством безграничных издевательств над ними, принуждения огромного большинства к каторжному труду и полуголодному существованию».

«И Россией будто бы не смогут управлять 240 000 членов партии большевиков, управлять в интересах бедных и против богатых. Эти 240 тысяч человек имеют за себя уже теперь не менее 1 миллиона голосов взрослого населения, ибо именно такое соотношение числа членов партии к числу подаваемых за нее голосов установлено опытом Европы и опытом России, хотя бы, например, августовскими выборами в Питерскую Думу. *Вот уже у нас государственный аппарат в один миллион людей, преданных социалистическому государству идейно, а не ради получения 20 числа ежемесячно крупного куша***».

Конечно, если все, голосующие за партию, есть потенциальный государственный аппарат, если партию и ее периферию рассматривать как эмбрион будущей правящей касты, а страну считать готовой к социализму, потому что она, привычная верить свои судьбы той или иной правящей касте, в данный момент эту готова предпочесть всякой другой, то вопрос так прост, что проще и быть не может.

И цель была достигнута. Власть была взята. Оставалось испробовать на деле всемогущество государственного принуждения. Машина — новая машина, импровизированная из «вооруженных рабочих», из двухсот сорока тысяч членов партии, опирающихся на миллион «примыкающих», — заработала. Как из рога изобилия, посыпались на страну декреты, по своему содержанию один значительнее другого. Каждый рассекал какой-нибудь из гордых узлов современности. «Мы помним, — говорил впоследствии Ленин, — как в Смольном мы проводили зараз по десять, по двенадцать декретов»***. Законодательная плодовитость, не имеющая себе равных в истории.

* Там же, стр. 391.

** Там же, стр. 236.

*** Там же, том XVI, стр. 103.

Впрочем, скептики, — к их числу принадлежал и пишущий эти строки, — тогда же отметили, что декретный ливень первого периода после октябрьского переворота с действительной законодательной работой имеет чрезвычайно мало общего. Почти все крупные законодательные акты, являющиеся вехами на пути созидания новых форм жизни, предполагают создание соответственного аппарата для проведения в жизнь: без этого аппарата они подобны удару шпагой по воде. Большинство первых декретов были именно декретами такого рода, взять хотя бы для примера декрет о земле. Не имея аппарата для проведения нового земельного строя в жизнь, новая власть декретом своим тем самым приглашала население самостоятельно осуществить его «снизу». Декрет гласил о социализации земли, об уравнительном землепользовании, но не устанавливал ни определенных норм землепользования, ни точного способа их определения. В результате получился *расхват* земли с самым грубым, глазомерным и при том узко-локальным соблюдением «уравнительности». Все происходило хаотически, сумбурно, с бесконечным количеством трений. Впрочем, ни к чему иному декреты и не стремились. Сам Ленин, рассказывая впоследствии об эпохе приготовления декретов дюжинами зараз, прибавлял: «То было проявление нашей решимости пробудить опыт и самодеятельность пролетарских масс»*. С этой точки зрения неопределенность, чрезмерная общность, неразработанность и недостаточная конкретизированность декретных «императивов» были даже не недостатком, а достоинством: «Когда декрет говорит такую вещь, — комментировал Ленин, — это значит: вы попробуйте так сделать, а мы потом взвесим итог вашего пробования. Мы потом разберем, что именно вышло. Когда мы разберем, мы будем двигаться вперед»**. Декреты, следовательно, часто бывали просто приглашениями рабочих и крестьян действовать как бог на душу положит, в известном направлении. Иными словами, захватившие власть еще не освоились с ролью законодателей и вместо законов выпускали полупрокламации, с той разницей, что ими уполномочивали кого-то — всех вообще и никого в частности — устанавливать новые юридические состояния и отношения.

Социалисты не большевистского толка подвергли с самого начала это декретное творчество уничтожающей критике. Они указали, что его императивы без приготовления аппаратов, проводящих их в жизнь, превращаются либо в мертвую букву,

* Там же, стр. 103.

** Там же, том XVIII, ч. 1-я, стр. 17.

либо влекут за собою последствия, не имеющие ничего общего с задуманным. Они указали, что декретами даруются народу все блага мира без всякого соображения с их реальной наличностью. Пародируя их широковещательную форму, социалисты-небольшевики спрашивали, что же, собственно, останавливает новую власть от издания декретов хотя бы в таком роде: «Сим даруется каждому гражданину право на труд» или «право на равную с прочими долю в национальном доходе России», или даже еще проще: «Сим вводится социализм». Указывали и на то, что многие из этих декретов были, в сущности, не чем иным, как бесплатно, на государственный счет издаваемыми партийными избирательными плакатами, полными заманчивых посулов и обещаний. Ибо в то время ведь большевики недаром торопились до конца выборов в Учредительное собрание. Смысл этой торопливости — в соблазне самим провести выборы под громкий аккомпанемент декретного облагодетельствования всей страны, обеспечивая этим себе большинство. Веру в декретные чудеса социалисты-небольшевики сурово расценивали как демагогический трюк наверху, недомыслие внизу. Констатировалось шумное нарождение какого-то своеобразного «декретного социализма» или «социалистического декретинизма». Прошло пять лет, и Ленин вынужден был задним числом подтвердить безусловную справедливость этой суровой критики. Ничего иного ожидать было нельзя. Ибо все это искусственное втискивание грандиозного социального потрясения России в старые знакомые формы Великой французской революции с ее декретами не выдерживает никакой критики.

Великая французская революция разрушала устаревшие формы феодально-цехового социального регулирования народного хозяйства, чтобы дать полный простор в свободной игре индивидуальных сил и стремлений. Она просто раскрывала новую, так сказать, самопроизводительную систему общественного хозяйства; систему, в которой как распределение сил и средств между разными отраслями хозяйства, так и установления национальных цен на продукты хозяйственной деятельности и всех взаимоотношений разных факторов производственного процесса — все представлялось стихийной игре конкурирующих сил. В этом был основной социальный смысл революции — в этом, а не в тех чрезвычайных регулировках, чисто «осадного» характера (таксы, конфискации и иные способы деспотического вмешательства в имущественные отношения), которые обуславливались переходящими условиями военно-революционного времени. Полную противоположность этому основному заданию Великой французской революции представляют собой основные задания «пролетарской коммуни-

стической революции». Здесь, наоборот, идет дело о прекращении «самопроизводной» системы общественного хозяйства, в планомерно и всесторонне регулируемую; о том, чтобы общество, как целое, стало из раба господином хозяйственных отношений; о том, чтобы общественное сознание впервые сделалось не только стихийным рефлексом общественного социального быта, но и его регулятором.

Особенный характер Великой французской революции сделал естественным преобладание в экономической области разрушительной деятельности над созидательной. А власть, принуждение, приказ, декрет всего действеннее именно в области запрета, уничтожения. Однако и в этой области властный приказ еще не всесилен. «Всякому, даже не учившемуся в семинарии» известно, например, что самые суровые законы против ростовщичества не достигали цели, пока ему одновременно не было предоставлено позитивной работой — организации доступного и дешевого государственного и кооперативно кредита; та же судьба постигла законы и против пьянства без противопоставления ему организованной системы разумных развлечений; или запрет свободной торговли хлебом без организации в достаточных размерах государственного снабжения. Запрет ненормальной формы удовлетворения той или иной человеческой потребности без одновременного создания иной нормальной — не уничтожает и только удорожает ее оплату, в которую включается определенный процент «за риск предприятия» — пропорционально размерам этого риска.

Видя ключ ко всему в государственной власти, в приказе, в декрете, большевизм сознательно или несознательно избрал следующий основной метод работы. Наметив то русло, по которому «решено» властно направить течения жизни, большевизм начинал с того, что перегораживал рогатками, запружал плотинами все другие возможные пути и русла. Не оставить для жизни никакого другого выхода — это и значило для большевиков создать желанный для них выход. Для них было ново, что может получиться и еще один — совсем иной — абсолютно ими непредвиденный результат: а именно, что жизнь просто упрется в тупик абсолютной безвыходности.

Многочисленны и разнообразны были свидетельства жизни о бессилии голого декрета в области созидательной работы — начиная с примеров самых элементарных. Объявляется «ликвидация безграмотности» в самом чрезмерном, ударном, «военно-полевом» порядке. Нет достаточно учителей? Ничего: мобилизуем всех образованных людей, не хватит их — мобилизуем всех грамотных и предпишем им в течение такого-то срока обучать всех безгра-

мотных. Мобилизуем и безграмотных, в порядке поголовного ополчения поведем всех, старых и малых, на обучение к ново-пожалованным учителям, покорно исполняющим свою миссию («прикажут — акушером буду»). А надолго ли продолжится «грамотность», сообщенная человеку в порядке как бы всеобщего обязательного оспопрививания, и как скоро она перейдет в рецидив безграмотности — об этом можно не очень задумываться. Необходимо провести систему рабочего контроля — декретом обратим заводской митинг в специальную контрольную инстанцию. Нужно обобщить этот контроль? Для этого не хватает правильно организованных профессиональных союзов? «Огосударствим» эти союзы, сделаем членство в них для рабочих обязательным, — и рабочие, заснув неорганизованными, на другой день утром проснутся «профессионально сорганизованными». Так же «огосударствим» потребительные общества, так же сверху по всему фронту «принудительно кооперируем» население. Так же выработаем сеть электростанций, достаточную для электрофикации всей России и т. д., и т. д. И только под конец заметим, что пробавлялись фикциями, что хотя и «гладко писано в бумаге», а по справке оказывается, что прочерчены лишь внешние линии голых форм, для заполнения которых нет реального культурного содержания и которые поэтому остаются пустопорожними формами... И наконец сам Ленин додумывается до великой истины: кроме предписанных декретами форм жизни есть еще открытая новым Колумбом Америка: это «культурный уровень», через который нельзя перескочить в порядке декретов, в который нужно вжиться, чтобы с ним расти. И вот в один из самых последних своих «светлых моментов» Ленин бросается из одной крайности в другую: он требует, чтобы все коммунисты превратились ни больше ни меньше как в простых культурников. В культурничестве, в самом простом и обыкновенном культурничестве — все спасение.

Более того. Ленин с опозданием пришел к «просиянию своего ума», открыв, что «у нас в конце 1917 года было написано весьма достаточно вещей, оказавшихся в весьма достаточной степени только исписанной бумагой»*. Декретная мания у него прошла. «Ни малейшей влюбленности в декреты у меня нет, — заявил он: — Что мы сделали много ошибок, в этом нет сомнения; точно так же может быть, что большая часть наших декретов подлежит изменению; я не защитник всех декретов и не хочу изображать декретов лучшими, чем они есть». Более того, под давлением своего рода декретного катценямера он даже иронизирует: «Такая

* Там же, стр. 10.

печальная штука эти декреты, которые подписываются, а потом нами самими забываются и нами самими не исполняются...»*.

Более уничтожающего приговора не мог бы произнести и злейший враг октябрьского переворота.

Даже когда Ленин пытался, хотя бы лишь с исторической точки зрения, защищать декретную полосу в большевистском прошлом, и тогда он этой защитой только подтверждает все, что говорили противники. «Эти декреты, которые практически не могли быть проведены сразу и полностью, *играли значительную роль для пропаганды*. Если в прежнее время мы пропагандировали общими истинами, то теперь мы пропагандируем работой... Это — призывы к массам, призыв их к практическому делу. Декреты — это *инструкции*, зовущие к массовому практическому делу. Вот, что важно. Пусть в этих декретах многое негодно, много такого, что в жизни не пройдет, но в них есть материал для практического дела... Мы не будем смотреть на них, как на абсолютные постановления, которые надо во что бы то ни стало, тотчас же провести... Это — проба практического действия в области социалистического строительства»**.

Пропагандистские документы... Призывы... инструкции... декларации... пробы... все что угодно, только не законодательные акты с конкретными формами их проведения в жизнь. И это настолько верно, что в конце концов сам Ленин не выдержал и разразился громовой тирадой — против кого? — против себя же самого, ибо по какому же иному адресу?

«Надо добиться, чтобы произведенный нами переворот не остался только декларацией. В свое время были нужны эти декларации, заявления, манифесты, декреты. Этого у нас достаточно. В свое время эти вещи были необходимы, чтобы народу показать, как и что мы хотим строить, какие новые и невиданные вещи. Но можно ли народу продолжать показывать, что мы хотим строить? Нельзя. Самый простой рабочий в таком случае станет издаваться над нами. Он скажет: что ты все показываешь, как ты хочешь строить, ты *покажи на деле, как ты умеешь строить*. Если не умеешь, то нам не по дороге, проваливай к черту. И он будет прав***. И «самый простой рабочий», действительно, не раз имел основание сказать эти горькие слова тем, в кого сначала он уверовал почти так же легко и быстро, как легко уверовали они в самих себя. И после этого даже такие коммунисты, стоящие «левее здравого смысла», как Бухарин, додумались до такой великой истины:

* Там же, стр. 394.

** Там же, том XVI, стр. 149.

*** Там же, том XLIV, стр. 169.

«Теперь мы отлично понимаем всю сложность положения: *декретами социализма не введешь...*».

Такова была та «великая истина», которую наконец усвоили себе представители русского большевизма. Она была куплена дорогой ценою горького опыта, и горького для страны, для народа, над живым телом которого годами производились вивисекционные опыты. Крепкие задним умом, они убедились лишь после длинного ряда жалчайших неудач. И этот их «задний ум» и продиктованная им тактика самоликвидации «нэпа» родились в мучительных потугах и схватках, одно время обративших страну, по жестокому и верному слову Ленина, «в измученный, истерзанный, обезумевший от боли, окровавленный, полумертвый кусок мяса».

